Русская
Зарубежная
поэзия

— 4 —

Николай Моршен

# ТЮЛЕНЬ

стихи

«Посев»
1959

Николай Моршен

# ТЮЛЕНЬ

стихи

«Посев»
1959

Printed in Germany 1959
Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

## *ПОЭЗИЯ НИКОЛАЯ МОРШЕНА*

*Когда в рецензиях перечисляют лучших новоэмигрантских поэтов, имя Моршена выступает как величина постоянная. Против термина «новоэмигрантский» можно протестовать, однако какая-то общность тем и элементов поэтики у поэтов — выходцев «оттуда» — заметна. Впрочем, об этом пришлось бы долго говорить. С другой же стороны, новые эмигранты не образовали течения или школы, между ними меньше духовного сходства, меньше общности темперамента, чем, скажем, среди поэтов парижской «ноты».*

*Моршена особенно трудно каталогизировать, тем более, что он все время стоял в стороне от «литературы». Регулярно печатаясь в зарубежных журналах, он получал по временам похвалы от рецензентов, ценился любителями поэзии, но на его долю как-то не выпадало ни «любови народной», ни пристального внимания критики. Причины первого всегда неисповедимы, второе объяснить легче: чуть ли не единственный из своих сверстников Моршен до сих пор не удосужился издать сборника.*

*Итоги послевоенной поэзии в эмиграции еще не подводились (здесь нет съездов писателей и пятилеток), поэтому иерархия ценностей еще не установлена. Но как ни относиться к стихам Моршена, это поэзия высокого качества, неподдельной скромно-*

*сти и некрикливой самостоятельности в тематике и выборе художественных средств. В лучших образцах это не поэзия эффектов, ритмического или образного богатства. Словесной пышности в ней мало (хотя Моршену и известно, что слова могут быть «как медведи косматы»), но есть в этой поэзии острая мысль, внутренняя строгость, а иногда и увлекательная игра смысловых контрастов и точек зрения.*

*В стихах Моршена различаются три темы или, вернее, три, то переплетающихся, то идущих врозь, потока. «Страшный мир» советской действительности, пожалуй, главная тема его первой книги «Тюлень». Исторический и бытовой фон этих стихов легко распознается: законы об опозданиях, московские процессы, голод на Украине, демонстрации 7-го ноября; но, конечно, не в этом их ценность. Заслуга Моршена в том, что он правильно отвечает на вопрос: что позволяет там жить настоящим, еще живым — не стаду, не циникам-делягам и не купленным талантам. Ответ: своя частная отдушина, как у тюленя. У тебя она одна, у соседа другая; впрочем, может и совпасть: например, в любви к стихам. Но разработка «советской» темы была бы односторонней, если бы Моршен пошел по пути чистой лирики и не попытался выйти за пределы себя, как он делает в стихах о повесившемся колхознике или о старике с передачей. Не знаю, такое ли зовется в СССР «нераздельной связью с народом», но именно этот путь привлекал и больших русских поэтов (вспомним хотя бы Пушкинского «Гусара» или Лермонтовское «Завещание»), и не случайно в таких стихах иногда возникают у Моршена некрасовские ритмы, обычно ему не свойственные. В этом же плане и лирический герой «советских» стихов, рас-*

*пивающий «грамм по двести» с приятелем в пивной. Конечно же, это не поэт, который тонко перекликается со строками Пушкина и Пастернака и сквозь гомон базара поднимается до высокой полемики с Тютчевым («1943»).*

*Вторая тема Моршена это ощутимый мир как источник радости для поэта и чуть ли не основа поэзии. Интересно, что эта ощутимость сводится к землистости, твердости. Вот поэт хочет дотянуться до цветка, не может, в руках только земля, но он рад и земле. Волна навеки застывает в стихе и не движется. Даже звук стихов к луне, выкрикиваемых на морозе, взлетает «теплым и живым, ритмически пульсирующим шаром». Поэта влечет все, что «объемно, свежо и плотно».*

*Наконец, третья стихия воплощается в неких геометрико-физических образах. З е м л и с т ы й  м и р здесь расширяется до вселенной и теряет свою плотность, абстрагируется. «Рассудочный воздух» наполняет этот мир. Впрочем, эта линия только намечена, и, по-видимому, лишь в последующих стихах Моршена (некоторые из них уже появились в печати) удастся разобраться, что это: новая «поэзия мысли», «научная поэзия», привлекавшая по-разному поэтов от Рене Гиля до Брюсова и от Хлебникова до Заболоцкого, или же это просто эрзац иного мира (ведь там «прекращается земля», с противоречивым одобрением заявляет поэт).*

*Одно имя часто повторяется в стихах Моршена: Гумилев. Стихи Гумилева попадают в эпиграф; его «Заблудившийся трамвай» вспоминается при чтении моршеновского «На Первомайской жду трамвая»; по гумилевским строкам, как по масонскому перстню, узнают друг друга «единоверцы» в СССР; возвра-*

*тясь в родной город, поэт прежде всего мечтает «почитать стихи Гумилева» с приятелем. Сравнивая с другим поэтом моршеновских эпиграфов, мы отмечаем, что не у Батюшкова, этого истинного волшебника стиха, находит Моршен «строк ... волшебство», а именно у точнословой музы царскосельского мэтра русской поэзии XX века. Гумилев до сих пор негласно царит в России, и его легко найти даже в стихах сталинских лауреатов, не говоря уже о многочисленных подпольных поклонниках — любителях поэзии и непечатающихся поэтах. Причинами этого явления стоило бы заняться. Что привлекает советское юношество в Гумилеве: мастерство, столь влекущая отделенных от мира «муза дальних странствий», легенда о расстрелянном чекистами поэте или просто доступная эстетика, подменяющая путешествием в Африку более трудные метафизические странствия Белого или словесные авантюры русских «вербалистов»? У Моршена Гумилев отражается не своей воинственностью или мистическими просветами немногих поздних стихов, а виден скорее в точном описательстве, в некоем киевском парнасстве пейзажной живописи. Внутренняя борьба человека «оттуда» таким образом несколько обходится — не показывается, как же из тюленя получается человек.*

*Но, как и Гумилев, Моршена бессознательно влечет от «объемного» и «плотного» мира к символу. Символика даже приводит его к двойникам и леонидандреевским ужасам («Как круги на воде...»), но она же помогает ему строить некоторые из лучших стихов, которые в будущем могут стать непременными гостями антологий («Осенний лист», «Ма-*

*як»). Иногда поэт даже начинает нас убеждать, что «мира слушать не надо» («Исход»), но рядом у него души умерших из «загробных миров» (характерное множественное число) тоскуют по «объемному» миру — словно какой-то вызов всей лермонтовской традиции. И, продолжая цепь противоречий, тут же поэт, в своем Киеве, ночью, тоскует по Аскольду, у могилы которого «объемность» особенно пошло торжествует, а днем он любуется легкостью линий Андреевской церкви. Если в этих противоречиях сказывается внутренняя борьба «тюленя» и его неизбежная эволюция к человеку, то выше высказанный упрек сам собой снимается.*

*Тоска преобладает в стихах Моршена. Однообразная тоска и разнообразная ирония (последняя и порождает упомянутую нами точку зрения). С какой-то печальной неактивностью его лирический герой, этот «герой нашего времени», бродит по советскому Киеву и делает четкие, но грустные зарисовки того «плотного» мира, который, по словам поэта, его так радует. Однако, жалоба прорывается: «С моей тенью как мы одиноки». Откуда эти горечь и меланхолия? Тоска советского человека по свободе («Остывают камни . . .»), одиночество эмигранта, желание трудно достижимой подлинной духовности или просто исконная поэтическая* Sehnsucht, *которой не выкорчевать никаким блюстителям? А может быть поэт втайне завидует малограмотному стихотворению повесившегося колхозника, стихотворению, в котором было столько эмоции, столько неумелости, в век, когда, с легкой руки Гумилева, все пишут «правильно»? Во всяком случае, несмотря на прокламированную любовъ к жизни, совсем отчаян-*

*ные строки вырываются из-под пера Моршена (как бы они ни были оправданы советским контекстом):*

Сперва осыпаются звезды,
Потом осыпаются листья,
За листьями сыплется снег.

*Но хорошо, что есть звезды в стихах Моршена, и они далеко не всегда «осыпаются», если присмотреться. Не исчезают звезды и в поэзии нашего века. Их можно найти даже у Маяковского; мы уже не говорим о Мандельштаме, Георгии Иванове или Иване Елагине. А пока звезды живут в стихах, как во времена Данте, можно не беспокоиться за поэзию.*

*В. Марков*

Он прожил мало: только сорок лет.
В таких словах ни слова правды нет.
Он прожил две войны, переворот,
Три голода, четыре смены власти,
Шесть государств, две настоящих страсти.
Считать на годы — будет лет пятьсот.

# ТЮЛЕНЬ

«Товарищи!»
Он опустил глаза,
Которых не удастся образумить.

«Кто за смертную казнь врагам народа,
прошу поднять руки!»

Все подняли. Он тоже поднял «за»,
Стараясь ни о чем не думать,

Но головокруженье превозмочь
И, отстранясь, скорей забыть про это.
Аплодисменты. Значит, можно прочь,
Из коридоров университета

На воздух. Сумерки. Земля
Апрелем пахнет. Дальше что? Постой-ка,
Теперь все просто: полтора рубля,
Стакан вина у неопрятной стойки

И папиросу в зубы. И — в сады,
Туда, к реке, где ночь шуршит ветвями,
А звезды, отразившись от воды,
Проносятся, как эхо, над садами.

Где в темноте, друг другу далеки,
Блуждают одиночки по аллеям,
И, как кладбищенские огоньки,
Их папиросы плавают и тлеют.

И здесь бродить. Сперва — томясь, потом —
Уйдя в покой туманных размышлений
О постороннем; в частности, о том
По детским книжкам памятном тюлене,

Который проживает там, где лед
Намерз над ним сплошным пластом снаружи.
Тюлень сквозь лед отдушину пробьет
И дышит, черный нос с усами обнаружа.

## ВЕЧЕРОМ 7-го НОЯБРЯ

Для трудящихся мильонов,
Превратившихся в зевак,
Два оркестра с трех балконов
Исполняют краковяк.

А потом играют польку —
Ай-да полька-полечка!
И танцуют Колька, Олька,
Толечка и Полечка!

И также вальса звук прелестный
Звучит над самой головой.
Его танцуют повсеместно
По потрясенной мостовой.

Зачем же средь шумного вальса
Ты бродишь без смысла и цели?
Смелей! Не печалься! Включайся
В дозированное веселье!

Веселья не будет иного.
Ни юность, ни счастье не ждет.
Ты медлишь? Надеешься снова?
На чудо? Но чудо не в счет!

. . . . . . . . . . . . . . . .

Смолкают кругом разговоры,
Кончается шустрая полька,
Расходятся пары, и скоро
С тобою останутся только

Ночной и рассудочный воздух,
Рябины прогорклые кисти,
Звезды запоздалый пробег.

Сперва осыпаются звезды,
Потом осыпаются листья,
За листьями сыплется снег.

* * *

Остывают камни. Спит столица.
Люди спят. Кому теперь что снится?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Крымский берег в прядающей пене
(Солнце, ветер, море по колени).
Камни, расправляющие крылья.
Хабанера, роза, сегедилья.
В бурдюке бродящее вино.
Настежь растворенное окно.
Журавлиный клекот... Людям снится,
Что они свободны, словно птицы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пахнет липой и бензином воздух:
По ночам все запахи слышны.
Птицы спят, попискивая в гнездах:
Вероятно, тоже видят сны.

## АСКОЛЬДОВА МОГИЛА

Где под луною
Камень белеет,
Пахнут землею
В парке аллеи.

В час полуночный
Слышится гулко
Звук одиночный
Из переулка:

Свист постового,
Грохот трамвая...
Смолкнет — и снова
Спит мостовая.

Над головою
Листья и гнезда,
А над листвою
Небо и звезды.

Что до могилы,
Рая и ада?
«Миленький... милый...
Не надо... не на...»

В час, когда соловьями из клетки
Запевают сердца про одно,
И черемух вскипевшие ветки,
Как бессонница лезут в окно,

И набухшие полночью травы
Поникают до самой земли,
Под лягушечий стон из канавы
Вынимали его из петли

Слишком поздно. И было не важно,
Как трясли его по мостовой,
И как нежно и многоэтажно
До утра его клял постовой.

Только утром за белой сиренью
Отыскался бумажный листок:
Неумелое стихотворенье
На двенадцать отчаянных строк.

Закорузлой колхозной рукою
Он писал: «...бо не маю вже сил»,
Оставлял Василька сиротою,
У него же прощенья просил,

Тосковал, задыхался слезами
И писал малограмотно он.
Но такой уже, видно, закон,
Чтоб о самом о главном — стихами...

С глазами-бусинками примитивной твари
Большая крыса кверху животом
На пыльном и горячем тротуаре
Лежала с переломанным хребтом.

А мимо люди шли. Переступали
Через нее — уже в который раз —
И каблуки мелькали и мелькали,
Как молоты, у самых крысьих глаз.

В блестящих глазках не был виден ужас,
Но в глубине он дрожью нарастал
И пробегал от усиков и ушек
До длинного и мерзкого хвоста.

И было как-то жутко и тоскливо,
И смерть особенно страшила нас.
Но мы болтали. Стоя, пили пиво . . .
Мелькали каблуки у крысьих глаз

На Первомайской жду трамвая.
Вокзал гудит передо мной.
Калека-нищий, завывая,
Сидит у самой мостовой.

Трамвай подходит, но не мой.

Идет безбровый и прыщавый
Полудешевой пудры слой,
А рядом чубчик кучерявый
И зуб с коронкой золотой.

Трамвай подходит, но не мой.

Платочек в серенький горошек
Людской выносится волной
И, пометавшись у подножек,
Вдруг исчезает на одной.

Трамвай подходит, но не мой.

Тень на сугробе под часами
В высокой шапке меховой.
Она с другими голосами
Смеется за моей спиной.

Который час? Уже восьмой.

Гудят заводы. На вокзале
Всем шепчет серое пальто:
«Ты, вы, они, мы опоздали!»,
И, глядя с ужасом на то,
Как ужас искажает лики,
Которых нет передо мной,
Я вдруг мычу нелепым криком,
Как раненый глухонемой —

И просыпаюсь. Боже мой!

*Есть Бог, есть мир. Они живут вовек,*
*А жизнь людей мгновенна и убога.*

*Н. Гумилев*

С вечерней смены, сверстник мой,
В метель, дорогою всегдашней
Ты возвращаешься домой
И слышишь бой часов на башне.

По скользоте тротуарных плит
Ты пробираешься вдоль зданья,
Где из дверей толпа валит
С очередного заседанья.

И, твой пересекая путь,
Спокойно проплывает мимо
Лицо скуластое и грудь
С значком Осоавиахима.

И вдруг сквозь ветер и сквозь снег
Ты слышишь шопот вдохновенный.
Прислушайся: «... живут вовек».
Еще: «А жизнь людей мгновенна ...»

О строк запретных волшебство!
Ты вздрагиваешь. Что с тобою?
Ты ищешь взглядом. Никого!
Опять наедине с толпою.

Еще часы на башне бьют,
А их уж заглушает сердце.

Вот так друг друга узнают
В моей стране единоверцы.

Как круги на воде, расплывается страх,
Заползает и в щели и в норы,
Словно сырость в подвалах — таится в углах,
Словно ртуть — проникает сквозь поры.

Дверь на крюк! Но тебе не заклясть свой испуг
Конурою, как норы понурой:
Он порочен твой круг, твой магический круг
Нереальный своей квадратурой.

За окном, где метель на хвосте, как змея,
Вьется кольцами в облаке пыли,
Возвращается ветер на круги своя
И с решетками автомобили.

Горизонт, опоясавший город вокруг,
Застывает стеною сплошною.
Где-то на море тонет спасательный круг,
Пропитавшийся горькой водою.

А вдали, где полгода (иль более) мрак,
Где слова, как медведи, косматы:
Воркута, Магадан, Колыма, Ухтпечлаг . . .
Как терновый венец или Каина знак —
Круг полярный, последний, девятый.

*О память сердца! Ты сильней*
*Рассудка памяти печальной...*

*Батюшков*

Еще до наступления морозов
В полях хватали сборщиц колосков,
И по ночам гудели паровозы
На север уходящих поездов.

Но помню утро. Вогнутое небо,
Узор деревьев, труп невдалеке,
И на трехпалой вздувшейся руке
Колючий иней — первый — вместо хлеба.

Брось! Замолчи. Стихи твои пусты.
Отсутствует в них трепет изначальный.
Когда б ты мог: «О память сердца, ты
Сильней рассудка памяти печальной».

Нет и не так. Ведь можно жизнь прожить
И не забыть ни крошечной детали,
Но, вспоминая, в сердце не открыть
Ни ненависти, ни печали.

О нет! О нет! Пошли мне все забыть:
Гудки, деревья, руку эту, иней,
Но только полной мерой сохранить
Святую дрожь, доступную мне ныне!

Был воздух свеж, и небо сине,
Смеялись люди, проходя.
А в полутемном магазине
Жил бюстик гипсовый вождя.

И пребывая на витрине,
Он думал с важностью о том,
Что мир и сам он — в магазине,
А остальное — под стеклом.

Напрасно я со страхом суеверным
Смотрел на стены с четырех сторон:
Каким пространством я — четырехмерным
Или четырехстенным окружен?

Я отпер дверь. Темнело. Постепенно
Один предмет скрывался за другим,
И воздух в легких шорохах, как пена,
Был осязаем, но неуловим.

Он шел приливом, этот темный воздух:
Вот по колени, вот уже по грудь,
И надо лишь порог перешагнуть,
Чтоб плыть и плыть, захлебываясь в звездах.

Гроза прошла, и — хорошо в полях!
Цветет гречиха, колосится жито.
Две радуги стоят на небесах,
Но в чумаками вытоптанный шлях
Следы от танка вдавлены, как вбиты.

Сутулый дед из ближнего села
По ровному шагает, словно в гору.
Намокла свитка, дума тяжела,
А передача в свертoчке мала,
И двадцать верст еще до прокурора.

Сияют семицветные мосты,
Но тихо шепчет дед, глядя на поле,
На гулких пчел, на мокрые цветы:
«О, рідна земле! Скільки туги й болю
Повинен мати хліб, що родиш ти!»

Я в осеннюю мзгу и холод,
От рассвета сгибая спину,
Во дворе двухэтажной школы
Из канавы швыряю глину.

И с тоской, будто в окна рая,
Я смотрю, как, раскрывши книжки,
Получинно-полуиграя
Что-то в классах твердят детишки.

Из загробных миров сюда же
Смотрят души умерших тоже
И, вздыхая, с тоской и даже
С исступлением шепчут: «Боже!

Этой глины тугая влажность,
Пенье мускулов напряженных
И лопаты живая тяжесть
В зашершавившихся ладонях!

Боже! Снова б в земном объеме
Обрести ощущенья эти
И не ведать печали, кроме:
О, как жаль, что уж мы не дети!»

Мой Киев спит. В садах ни поцелуя.
Тускнеют звезды, словно запотев.
А фонари под звездами колдуют,
Глазами золотыми поглядев.

Холодный ветер бродит у откоса,
Сухие листья треплет налету,
И, сорваны, ныряют листья косо
Летучими мышами в темноту.

Нагие руки тополи ломают,
Своей тоски не в силах превозмочь.
Проходит ночь. Ноябрьская, скупая,
Без запахов и без желаний ночь.

## АНДРЕЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Лучистая, вся в белоголубом,
Над темною весеннею рекою
Почти летит, взнесенная холмом
Высоко в небо голубое.

Она стоит отвесна и пряма,
С улыбкой думая о нежном и далеком.
А рядом низколобые дома
Прищурили глазницы черных окон.

Толпой тяжелою они сюда сошлись,
Глядя со злобой мрачной и старинной
На устремленность в тающую высь
И эту легкость смелых линий.

## ЗАКАТЫ

### 1.

Повержен свет, и день убит,
Но жив последний миг:
Еще поет, еще звенит
Заката алый крик.

И небо надвое рассек
Последний солнца луч,
Багряным золотом зажег
Края лиловых туч.

Скользнул вперед, скользнул назад
На кровлях ледяных,
Резнул сосулек светлый ряд
И окровавил их.

Но, задрожав, упал и лег,
Сраженный на бегу.
Упал и лег у наших ног,
Свернувшись в розовый комок
На голубом снегу.

2.

И снова рядом, как когда-то,
В полупрозрачном сентябре
Они стояли на бугре
Перед расплавленным закатом.

Они стояли молча глядя,
Как, полыхая, гаснет день.
А к ним подкрадывалась тень —
Бесшумно, по-кошачьи, сзади.

3.

Там, где неба оранжевы полосы,
Облака — как кипящая медь.
Но ничем не зажечь, не согреть
Монотонно-холодного голоса:

«Перестань же. Меня не разжалобить
Тем, что было когда-то давно.
Если чувство теряется, стало быть
Потеряться ему суждено».

Голос смолк. За полями, за хатами,
Где желтеет и рдеет листва,
Вьются галки, как эти слова,
Обожженные в уголь закатами.

Он снова входит в парк. Давным-давно
Здесь был бассейн. Припомнилось опять,
Как у бассейна ... Впрочем, все равно:
Он учится былое забывать.

И все ж туда из темноты аллей
Выходит он на ветер сентября.
Над водоемом светит Водолей,
А по бокам — два желтых фонаря,

Которые, расталкивая тьму,
Твердят о том, что высох водоем
И что не стоит больше одному
Скитаться там, где хожено вдвоем.

Смолк еще один день, что долго
Бился птицею в западне.
Но прислушайся: звуков сколько
В этой якобы тишине!

Сколько ритмов многоязыких
Наполняет тебя и тьму:
Вот постукивает на стыках
Поезд мчащийся в Кострому,

Одинокого пешехода
Раздается негромкий шаг,
И мешается шум завода
С шумом сердца в твоих ушах.

Будешь мять ты и мучить снова
Нарастающие слова,
Чтобы песня рождала слово
И рождалась сама, жива.

Чтобы, искрами обдавая,
Зазвенела твоя строка,
Как булыжная мостовая
Под подковами рысака.

## НА РЕКЕ

### 1. Утро

Открыв реки крутой изгиб,
Растаял пар, скрывавший воду.
По всей реке пошли круги
От легких всплесков верховодок.

Роса дрожит на листьях трав
В тумане утра золотого.
Я тороплюсь, слегка проспав,
Не опоздать к началу клева.

Весло сгибается в руках,
Роняя розовые капли,
В пушистых нитях-облаках
Летят, раскачиваясь, цапли.

Мгновенья милые близки,
Неизъяснима их услада:
Прозрачным утром из реки
Ловить серебряную радость,

И все забыть, на поплавок
Глядя с желанием единым,
Не замечать как жжет восток
Мою коричневую спину,

И с выгоревшей головой,
Со связкой рыбы полохливой
Приплыть к двенадцати домой —
Голодный, мокрый и счастливый!

## 2. День

Желтеет луг, недавно скошен,
Горячей дымкой дышит даль,
И в синем небе черный коршун
Вьет бесконечную спираль.

Нам жарко думать и смотреть —
Так раскален и ярок воздух.
Лети же, тел нагая медь,
С разбега в брызнувшую воду!

Лежим, почти не шевелясь.
Нас медленно несет теченьем
И вдруг, столкнув, сближает нас
Нечаянным прикосновеньем.

И выбегаем мы из струй
Со смехом на берег песчаный,
И звонок первый и случайный,
Рожденный солнцем, поцелуй.

## 3. Вечер

От ударов щуки гладь залива
На мгновенье вздрагивает, зыбясь.
Нарушая сумрак молчаливый,
Где-то крикнул белогрудый чибис.

Мы спешим с тобою воротиться.
Небо уж заметно потемнело,
И какая-то ночная птица
Быстро и бесшумно пролетела.

Дома ужин встретит нас, наверно,
Черным хлебом и молочным паром.
Наш челнок, похлюпывая мерно,
Медленно скользит по ненюфарам.

### 4. Ночь

И вода, и воздух, и песок
Тонут в теплом августовском мраке,
Но уверенно скользит челнок,
Озираясь на знакомый бакен.

Ночь роняет звезды прямо в Днепр
По обычаю прощанья лета.
Понырять да поискать на дне б —
Верно много звездных самоцветов!

Ночь черна, река еще черней...
Вдруг, гуденьем разорвав дремоту,
Пароход, прозрачный от огней,
Выплывает из-за поворота.

И проходит мимо челнока,
Не скользя, но разрезая воду.
С плеском прогибается река
Под тяжелым телом парохода.

Там, где камыш и гибкая лоза,
И где тростник отточен, словно сабля,
Полузакрывши пленкою глаза
И ногу подобрав, застыла цапля.

Как нежива. Но это лишь ловушка.
Вдруг дернулась. Метнулся клюв стрелой.
Мгновение — и в клюве над водой,
За ногу схваченная, мечется лягушка.

И вот проглочена. А с клюва, как слеза,
Стекает вниз серебряная капля.
Полузакрыв безжизненно глаза
И ногу подобрав, застыла цапля.

## НОЧЛЕГ

От заморозков стынет синий воздух.
Под лодкой плещется тяжелая вода.
А в лодке — сено, а над лодкой — звезды,
Осколки молотом раздавленного льда.

Окончен ужин. Высушены ноги
Над фыркающим радостно костром,
И в лодку спать с тобой ложимся рядом.

Ноябрьский месяц вылез из-за стога,
Застывшего тяжелою громадой,
Как мамонт со светящимся клыком.

Нам сладко спать внимательно и чутко.
Река и ночь струятся вдохновенно,
Торжественно, как старые стихи.

Зубровкою и мятой пахнет сено,
На озере кричат спросонок утки,
А за рекой горланят петухи.

До раскрывшегося цветка
Добираюсь тропой крутою
И сползаю. Полна рука
Мокрой глинистою землею.

Сжать кулак, и она тогда
Между пальцев ползет щекотно.
Если б жизнь ощущать всегда
Так объемно, свежо и плотно,

Как вот этой земли кусок,
Как жужжанье пчелы над ухом,
Как на крепких зубах песок —
Осязанием, вкусом, слухом!

И нацеливаться сорвать
Тот дурманящий, тот колючий . . .
И карабкаться вдругорядь
По отвесному склону кручи.

Над рощей тучи встали,
Разгрохотался гром,
И молнии летали
Над молодым дубком.

По тайному закону
К нему привлечена,
В доверчивую крону
Ударила одна.

Он молнией отмечен
И не такой, как все:
Заметен издалече
По белой полосе.

Остался сзади теплый ряд огней.
С моею тенью как мы одиноки
Вдвоем в степи! Мороз мне щиплет щеки,
А от луны и вдвое холодней.

Сперва шагаю молча в тишине,
Но утомившись ею, ледяною,
Выкрикиваю, обратясь к луне,
Стихи, вчера написанные мною.

И наблюдаю долго, недвижим,
Как, смешиваясь с выдохнутым паром,
Взлетают звуки теплым и живым
Ритмически пульсирующим шаром.

# РАКОВИНА

## 1.

Да, море не скудно
Своими дарами:
Есть в море и спруты,
И рыбы, и крабы.

Но только моллюски
Приносят с собою
И плески, и хлюпы,
И пенье прибоя.

И скользко, и гладко,
А к уху приблизь-ка —
Вселенной загадка,
Иль даже попытка,

И, может быть, чудо,
Которого ради
И созданы спруты,
И рыбы, и крабы:

У губ розоватых
И зева пустого
Архейские схватки
Рождения слова.

## 2.

За окнами клики, знамена, салюты,
И толпы гудят, как самум.
За окнами прочно стоит пресловутый
Шум времени — временный шум.

Но эта квартирка, клетушка, каморка,
Которую не проймешь.
Четыре стены и дверь как створка —
И все. И не всякий вхож.

Здесь строки вскипают Венерой из пены,
Идут напролом, наобум,
Рождая вневременный, внесовременный,
Самодовлеющий шум.

## 3.

Ребенок раковину взял
Из морем выброшенной груды
И долго к уху прижимал,
Дивясь неслыханному чуду.

Немыслим вне чужого уха,
Ты тоже входишь в некий круг
И существуешь в нем как звук,
Как речь без зрения и слуха.

## ИСХОД

Покинув все, пойдем со мной
По пыльным тропам, дорогая,
На самый дальний край земной,
Забыв, что нет такого края.

И там, где ровные поля
Вдруг подгибаются отвесно,
Где прекращается земля,
Стремглав обрушиваясь в бездну,

Мы сядем рядом на обрыв
И свесим ноги непременно,
Их до колена погрузив
В поток несущейся вселенной.

Вверху растают клочья туч,
Внизу погаснет солнце кротко,
Роняя вверх последний луч
На наши стертые подметки.

Пускай за нашею спиной,
Неукротим и невменяем,
Далекий мир, как пес цепной,
Хрипит, захлебываясь лаем.

Ведь мы не обратимся вспять
И не пойдем к нему с поклоном:
Нам миру нечего сказать,
А слушать незачем его нам.

Мы будем верить тишине,
Вдыхать космические ветры,
Следить летящие вовне
Секунды, звезды, километры.

## ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

По-осеннему воздух чист.
Пала изморозь и не тает.
Обрывается желтый лист,
Обрывается и слетает.

И не может понять он вдруг,
Не в бреду ли ему приснилось:
Почему это все вокруг
Покачнулось и закружилось?

Кувыркаются облака,
Опрокинулось поднебесье,
И такая во всем тоска
Об утраченном равновесье.

## У МАЯКА

Здесь на юг пролетают птицы,
Обгоняя случайный шквал.
Здесь с разбегу волна дробится
В горьковатую пыль у скал.

Здесь прибой потрясает гривой,
Словно вздыбленный белый конь.
Здесь ночами во мгле бурливой
Зажигает маяк огонь.

Но, привычные к тьме безлюдья,
Не понявши зачем и как,
Перелетные птицы грудью
Ударяются о маяк.

И крылатое, став свинцовым,
Исчезает в морской пыли.
. . . . . . . . . . . . . . .
Вдалеке благодарным ревом
Откликаются корабли.

Подходит к берегу волна
И, вздыбясь на бегу,
С тяжелым грохотом она
Сгибается в дугу.

Смотри внимательно: нигде
Ее отныне нет.
Ни на песке, ни на воде
Ее не виден след.

Ни на воде, ни на песке,
Но в полусогнутой строке
Сверкает солью пыль.
Волна стоит в стихе — ну что ж,
Запоминай скорее иль
Забудь и уничтожь.

## ХИРОСИМА

Тот самолет в пространстве голубом
Был с каждым мигом громче и крылатей.
Большая тень его легла крестом
На город, обнаженный для распятий.

По тропинке по лесной
Два солдата шли весной.
Их убили, их зарыли
Под зеленою сосной.

Кто убил и почему
Неизвестно никому —
Ни родному, ни чужому,
Разве Богу одному.

Через год иль через два
Прорастет кругом трава,
Все прикроет, припокоит,
Приголубит трын-трава.

У тропинки у лесной
Запоет гармонь весной:
«Слышу, слышу звуки польки,
Звуки польки неземной».

Если все-таки ты уцелел,
Значит, в Киеве встретимся снова.
Разом скажем: «А ты еще цел?»
И ответим: «А что ж тут такого!»

Будет осень шуршать под ногой,
Нашу встречу собой знаменуя.
Если встретимся на Прорезной,
То зайдем, как бывало, в пивную.

И, присев в уголке за столом,
Мы опять повторим из былого:
Грамм по двести с тобой разопьем,
Почитаем стихи Гумилева,

И твои почитаем о том,
Как зигзагами звезды летели,
И как с мамой под вечер вдвоем
Вы вносили складные постели...

...Хорошо тем, кто верит в покой!
Ну, а если дорогой такой
Возвращаться под старую кровлю:
Вдоль по улице, по мостовой,
До тротуаров наполненной кровью?

## ГРОЗА

Ты проснулся в полночь. За окном,
Полыхая, небо грохотало,
Как в тот день, когда стоял кругом
Скрежет, содрогание и гром
Разрывающегося металла.

Помнишь раньше грозы? Тютчев, Фет,
Мокрый сад и лужи на дорожке.
А теперь? И в восемьдесят лет
Первое, что вспомнишь ты, поэт,
Будут канонады и бомбежки.

Словно ласточкин хвост, за кормою
Разделяется надвое след
И бежит, колыхаем волною,
В те места, где меня уже нет.

Так везде на путях моих странствий
Продолжением прожитых лет
Оживает и бродит в пространстве
Многократно дробящийся след.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Пролетают ветра над полями
И метут невесомую пыль.
Под бурьяном, в загаженной яме
Это кости лежат не мои ль?

А бухгалтер, который в колхозе,
Поллитровкой разбавив печаль,
Пишет скверные вирши о розе,
Соловьях и любови — не я ль?

Педагог, обреченный лукавить,
Обучает детей предавать —
Это трижды, четырежды я ведь
Возникаю в тумане опять!

А вон там, в полутемном подвале,
Две секунды, летящие вскачь,
Измеряю шагами не я ли,
Не за мной ли шагает палач?

Но движением точным и скорым
Чья метнется рука, как змея?
Пулей тот меня скосит, которым
Буду тоже ведь, тоже ведь я!

. . . . . . . . . . . . . . . .

Небывало, нелепо, нежданно
Небоскреб в отдаленье возник
И глядит на него с океана
Мой неправдоподобный двойник.

## ЖУРАВЛИ

Сухая осень расцветает
Весны заманчивей вокруг.
Но журавли вернее знают,
Зачем летят они на юг.

Порядкам старым журавлиным
Верна крылатая семья,
Летит она привычным клином
В иные, теплые края.

И мне все кажется, что стая,
Пунктиром небо прочертя,
Летит, о прошлом не мечтая,
Не сожалея, не грустя.

И в этом вся наука ныне:
Лети — и больше ничего!
Вот хитрость счастья на чужбине,
Премудрость жизни кочевой.

. . . . . . . . . . . . . . .

Погас закат за тополями
От дуновенья темноты.
Ну что ж, — прощайся с журавлями,
Чей след уже теряешь ты,

Но верь: затем и не погиб ты
На пустырях чужой земли,
Чтобы тебя еще смогли,
Летя обратно из Египта,
Весной окликнуть журавли!

## 1943

Смеется тощий итальянец,
Базар гогочет вместе с ним:
Ботинки продал он и ранец
И вопрошает путь на Рим.

При этом ловко кроет матом
«Тедеско», «порко Сталинград»,
А рядом дядько Грицъ со сватом
И воз с картошкою стоят.

Из неуклюжей клетки чижик
Свистит о плене и тоске,
И букинист десяток книжек
Раскладывает на мешке.

И рыжий парень в полушубке
Отмеривает чашкой соль,
И женщина у перекупки
Кольцо меняет на фасоль.

Стоять с картошкою наскучив,
Подходит к букинисту сват
И томик с надписью «Ф. Тютчев»
Он выбирает наугад.

И, приподняв усы живые,
С трудом читает то впервые,
Что кто-то подчеркнул до дыр:
«Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты ро-ко-вые . . .».

## ОГЛАВЛЕНИЕ